АЛЕКС БЛЭК

НЕВОД

БРАК В СИСТЕМЕ



18+

Алекс Блэк

Невод. Брак в системе

«Автор»
2026

Блэк А.

Невод. Брак в системе / А. Блэк — «Автор», 2026

Его списали с Земли, как брак с конвейера. Без суда, без объяснений — просто сочли, что он больше не нужен.Бывшего работягу роняют в дикую зону планеты-решета, где всем правит Невод — холодная система, что просеивает людей сквозь себя и оставляет единицы. Здесь жила заменяет кровь и валюту, твари выходят из тумана на запах страха, а за каждым, кто растёт слишком быстро, приходят меченые.Чтобы выжить, Дэйву хватит рук и упрямства. Чтобы понять, зачем таких, как он, швыряют в это решето, — придётся стать не рудой, которую перемалывают, а тем, об кого ломается сам Невод.Первая книга цикла «Невод». Тихая, жёсткая ЛитРПГ без избранных и роялей — про человека, который просто умел работать.

© Блэк А., 2026
© Автор, 2026

Алекс Блэк
Невод. Брак в системе

Алекс Блэк
Брак в системе
«Невод»
Книга первая
Книга создана автором в соавторстве с искусственным интеллектом и существенно переработана.

Глава 1. Прилов

В рекламе всё было красиво.

Там, на выцветшем билборде у проходной нашего бывшего цеха, девушка в белом комбинезоне стояла на фоне ровных куполов и зелёных полей и обещала, что колонизация — это «новая жизнь с чистого листа». Билборд висел косо. Один угол оторвался, хлопал на ветру, как незакреплённый брезент, а краску сверху так выжгло солнцем, что небо над куполами стало болезненно-жёлтым. Девушка всё равно улыбалась — широко, уверенно, как улыбаются те, кому за улыбку платят. Я возвращался с биржи. Там мне в третий раз за месяц объяснили, что сорокалетних экспедиторов без допусков берут неохотно. Рынок. Оптимизация. «Мы вам перезвоним». Я постоял под этим билбордом минут десять, поднял воротник от ветра и посмотрел на девушку в белом, как смотрят на витрину магазина, в который тебе уже никогда не войти.

А потом записал номер.

Записал, потому что терять было уже нечего. Полгода назад меня сократили — вежливо, с бумажкой и сухим рукопожатием. А пока оформляли расчёт, кадровичка обронила между делом: я на этой должности у них третий за полгода. Троих подряд. Всех — «не оправдал ожиданий»: начальник, вишь, ждал большего. Я стоял с той бумажкой в руках и думал — может, дело не в трёх дураках подряд. Может, дело в том, кто ждёт. Но вслух, конечно, не сказал. Кто ж такое вслух говорит. Сказал «спасибо», пожал сухую руку и пошёл искать, кому ещё сгожусь. Полгода искал. Не сгодился никому. А билборд — вот он, звал, улыбался девушкой в белом, обещал, что уж там-то, за звёздами, я точно кому-нибудь да пригожусь.

Знаете, что они не пишут на билбордах? Что «новая жизнь» — это капсула размером с холодильник, куда тебя запаивают, как сельдь в банку, подключают трубки, суют в вену иглу и усыпляют на весь перелёт, а потом сбрасывают с орбиты на планету, где ты никому ничего не должен, потому что должать уже некому. Что контракт — в один конец, и это не фигура речи, а строчка в договоре, которую юрист компании зачитывает тебе вслух, глядя в стол, прежде чем ты поставишь подпись. Что «подъёмные» — те деньги, ради которых всё и затевается, — выплачивают не тебе, а по указанным тобой реквизитам, и обратно их не вернуть, как не вернуть подпись. И что «мягкая посадка в обустроенный сектор», обещанная мелким шрифтом в самом низу, под звёздочкой, — это как гарантия на китайский перфоратор: есть, пока он работает.

Мой перфоратор сломался на входе в атмосферу.

Я проснулся за минуту до этого — система будит тебя перед посадкой, чтоб колонист встретил «новую жизнь» в сознании, бодрый и благодарный. Я встретил её с пересохшим ртом, с ломотой во всём затёкшем теле и с той мутной, ватной головой, какая бывает после слишком долгого, слишком глубокого сна. В крохотное окошко-иллюминатор било что-то зелёное — не голубое, как Земля, а именно зелёное, мутное, как вода в заброшенном бассейне, — и я ещё успел подумать: вот оно. Приехали. Сейчас купола, поля, девушка в белом встретит.

А потом началась перегрузка.

Сначала просто вдавило в кресло — ровно, тяжело, будто кто-то большой сел мне на грудь. Потом сильнее. Пена кокона, в котором я лежал, набухла, затвердела, сжала меня со всех сторон, как кулак сжимает муху, — чтоб не переломало на тряске, объяснял голос инструктажа когда-то, давным-давно, в другой жизни. Глаза вдавило внутрь черепа. По краям зрения поползла чернота. Я хрипел, не мог вдохнуть, и где-то очень далеко, сквозь нарастающий вой, приятный женский голос — тот же, честное слово, тот же, что улыбался с билборда, — сообщил, что «происходит вход в атмосферу, сохраняйте спокойствие».

Потом пошла тряска.

Капсулу колотило так, что зубы стучали друг о друга, и разворачивало, крутило, швыряло. Где-то под обшивкой что-то выло на одной ноте — тонко, механически, обречённо. На единственной уцелевшей панели, прямо перед моим вдавленным лицом, вместо обещанной карты посадки мигала рыжая строчка: ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КОРИДОРА. Мигала ровно, равнодушно, как мигает лампочка «проверьте двигатель» на торпеде старого грузовика. Приятный женский голос сообщил, что «происходит коррекция траектории, сохраняйте спокойствие».

Коррекции я не почувствовал. Спокойствия тоже.

Я почувствовал, как желудок уходит к самому горлу, как мир за иллюминатором встаёт дыбом и несётся навстречу зелёной стеной, как вой под обшивкой срывается на визг, — а потом удар. Один. Короткий. Такой силы, что мир просто выключили, разом, без перехода, как выключают свет в неоплаченной квартире. Щёлк — и темнота.

Темнота.

Не знаю, сколько я в ней провисел. Может, минуту. Может, час. Там, в темноте, не было ни времени, ни меня — было просто ничто, тёплое и глухое, и, честно сказать, в этом ничто было спокойнее, чем в любой момент моей жизни до него. Я бы, наверное, и не вернулся, была б моя воля. Но воли моей никто не спрашивал.

Вернулся я по частям.

Сначала — боль в шее, тупая и ровная, пульсирующая в такт сердцу. Потом — звон в ушах, высокий, тонкий, а за звоном, если прислушаться, пряталось что-то ещё: какой-то живой, стрекочущий, многоголосый гул, которого в исправной капсуле быть не могло. И только потом — запах.

Вот запах меня и добил.

Горелый пластик — это я ждал. После такого удара что-нибудь да горит, это понятно, это по-нашему, по-машинному. Но под горелым пластиком лежало другое. Прелая листва. Кислятина. Сладковатая, густая гниль. И ещё что-то — животное, тёплое, влажное, как дыхание большой собаки прямо тебе в лицо. Так пахнет не «обустроенный сектор». Так не пахнет вообще ничего человеческого. Так пахнет место, где обустраиваться придётся самому, с нуля, голыми руками. И желательно быстро, пока то, что так дышит, не подошло ближе.

Я открыл глаза.

Капсула лежала на боку, и я вместе с ней — косо, затылком вниз, подвешенный в ремнях, которые теперь впивались не в грудь, а в плечи. Слюна тянулась у меня изо рта вбок и вверх, ко лбу, и это было так дико, так неправильно, что первые несколько секунд я просто висел и тупо смотрел, как она тянется. Перед носом, там, где раньше был потолок с мягкой обивкой и ровными рядами лампочек, теперь оказался пол — усыпанный выбитой из гнёзд трухой, осколками той самой панельки, какими-то сорванными с мест деталями. Сквозь трещину в обшивке — длинную, рваную, которой утром, или когда там было начало, точно не было, — сочился зеленоватый мутный свет и тянуло тем самым запахом.

Я повисел так немного, собирая себя. Потрогал языком зубы — все на месте, хоть и ноют. Пошевелил пальцами рук — слушаются. Ног — слушаются. Повёл головой — шея стрельнула болью, но не той, нехорошей, а простой, мышечной. Рёбра ныли. Что-то саднило на скуле. Но не стреляло в спине, не хрустело в суставах, крови на губах не было, и в глазах, хоть и плыло,

но двоилось только по краям. Для человека, которого только что уронили с неба и которого «новая жизнь» встретила ударом об землю, — почти праздник.

«Живой», — подумал я и сам удивился, до чего неубедительно это прозвучало. Будто я не был уверен. Будто проверял.

Расстегнуть ремни оказалось делом долгим и мерзким. Замок, рассчитанный на то, чтоб колонист отщёлкнул его одним движением и бодро шагнул в новую жизнь, при ударе заклинило. Пальцы дрожали, не слушались, скользили по гладкой пряжке, а висеть вниз головой и ковыряться в застёжке где-то у себя над животом — то ещё удовольствие, скажу я вам. Я провозился, кажется, целую вечность. Обломал ноготь. Обматерил замок. Обматерил компанию «Новый Горизонт» — всю, от девушки на билборде до того юриста, что читал мне контракт, глядя в стол. Обматерил себя — главного, если разобраться, идиота этой истории, потому что никто ж меня под дулом не гнал подписывать. Сам пришёл. Сам записал номер.

Наконец пряжка поддалась — вдруг, разом, — и я рухнул на бывший потолок, ставший полом, всем своим весом. Приложился локтем о металл, прошёлся затылком по осколкам, высказал вселенной ещё несколько слов, которых девушка с билборда точно не знала, и остался лежать, тяжело дыша, глядя вверх, на то, что раньше было полом, а теперь висело надо мной косым металлическим небом.

Полежал. Подышал. Сел.

Внутри капсулы всё было вверх дном — буквально. Содержимое аккуратных отсеков-ящичков высыпалось, перемешалось, валялось где попало. И я начал собирать себя и своё хозяйство — медленно, по одной вещи, как после очень долгой и очень тяжёлой смены, когда руки уже делают, а голова ещё едет где-то отдельно и никак не догонит.

Аптечка — цела. Это хорошо, это я мысленно отложил в «хорошо». Фляга — на треть полная, уже хуже. Паёк — три бруска в серебристой фольге, на вид, и, как выяснится позже, на вкус — спрессованный картон. Нож-мультитул — тяжёленький, честный, с десятком никому не нужных приспособлений вроде открывашки и пилочки и одним по-настоящему нужным: лезвием. Я сжал его в кулаке, попробовал на палец остроту, и от этого простого, знакомого жеста — инструмент в руке — стало чуть спокойнее. Привычка рукастого человека: пока в руке инструмент, значит, не всё ещё потеряно, значит, что-то ещё можно починить, подпереть, выкрутить.

На мне был рабочий комбинезон — плотный, с наколенниками, в таких у нас на складе ходили грузчики, — и ботинки с укреплённым носком. За комбинезон и ботинки я мысленно сказал спасибо неизвестному снабженцу «Нового Горизонта», который, видно, решил, что колонисту в новой жизни пригодится не парадный костюмчик, а рабочая справа. Потом я ему ещё не раз скажу спасибо. Этот неизвестный мужик, собиравший мне комплект, сам того не зная, спас мне жизнь не один десяток раз.

А вот чего в капсуле не было — так это связи.

Я облазил всё. Выгреб каждый отсек, ощупал каждую нишу, ободрал пальцы о каждую щель. Ни рации. Ни маяка. Ни хотя бы инструкции на пластиковой карточке — «что делать, если вас уронило не туда». Главная панель сдохла намертво, экраны погасли, та рыжая строчка про отклонение от коридора была последним, что эта техника мне сказала. Единственное, что работало на этой планете из всей обещанной, оплаченной моей жизнью техники, — это я сам. И то, судя по ноющей шее и плывущим краям зрения, не на сто процентов.

Люк, разумеется, заклинило. Потому что я везучий.

Я пинал его ногами минут пять, упираясь спиной в противоположную стенку, пыхтя и матерясь, пока не вспомнил — не сразу, голова ещё ехала — про аварийный рычаг, которым инструктаж велел пользоваться, «если штатное открытие недоступно». Рычаг, конечно, нашёлся с другой стороны, под слоем высыпавшейся трухи, куда я добирался ещё минут десять,

разгребая мусор руками. Я дёрнул его. Створка пошла — туго, с жутким протяжным скрежетом, будто ей самой не хотелось наружу, будто она знала что-то, чего не знал я.

В лицо ударил свет. Влажный, тёплый, густой воздух. И полный, во всю мощь, хор того самого стрекочущего гула.

Я зажмурился. Проморгался. И выглянул наружу — на свою новую жизнь.

Лес. Если это слово вообще сюда подходило.

Стволы стояли как водонапорные башни — в три обхвата, а то и толще, уходящие вверх так далеко, что кроны терялись где-то в зелёной мгле и разглядеть их было нельзя. Кора на стволах была в глубоких, чёрных трещинах, и из трещин медленно, тягуче сочилась тусклосветящаяся смола, собиралась в тяжёлые капли, набухала и падала вниз, беззвучно уходя в землю. Папоротники — если это папоротники — росли мне по грудь, и каждый отдельный лист был размером с лодочное весло, с прожилками толщиной в палец. Под ногами пружинил мягкий, глубокий ковёр из прелой листвы, в котором нога тонула по щиколотку, а при каждом шаге из-под подошвы с чавканьем выходил тот самый гнилой, кислый дух. Свет шёл отовсюду и ниоткуда — ровный, зеленоватый, без теней, без направления, будто кто-то включил над всем этим огромным лесом одну тусклую дежурную подсветку, как в аквариуме ночью.

И ни-че-го.

Ни дороги. Ни вышки. Ни купола. Ни забора, ни провода, ни следа колеса, ни звука мотора, ни единой, самой малой приметы той ровной, обустроенной, человеческой жизни, которую мне продали за мои долги, за мою подпись, за мою единственную дорогу в один конец. Только лес — бескрайний, чужой, равнодушный, живущий своей стрекочущей жизнью, которой до меня не было ровным счётом никакого дела.

— Ну отлично, — сказал я вслух, просто чтобы услышать человеческий голос. Свой собственный. Другого тут не было и, судя по всему, не предвиделось. Голос прозвучал хрипло, чуждо, тут же утонул в гуле. — Просто отлично.

И в этот самый момент у меня в голове — прямо за глазами, изнутри, под черепом — вспыхнул текст.

Не на панели. Панель сдохла, я проверял. В голове.

[Невод] Регистрация единицы. Статус: жив (временно).

[Невод] Добро пожаловать. Шанс дожить до заката: невысокий.

Я замер.

Моргнул. Потёр глаза грязными, ободранными костяшками — так, что из глаз брызнули искры. Текст не исчез. Он висел бледными, ровными буквами поверх картинки — поверх леса, папоротников, светящейся смолы, — будто субтитры к фильму, который я не включал и смотреть не просил. Ни экрана. Ни устройства. Ни проектора. Просто слова, которые я откуда-то знал, не читая, — знал их целиком, разом, как знаешь собственную мысль.

— Так, — сказал я очень спокойно, тем ровным, рассудительным тоном, каким говорят люди ровно за секунду до того, как начать по-настоящему паниковать. — Это что ещё такое.

[Невод] Это Невод. Ты в нём. Как все.

[Невод] Уровень 1. Опыт: 0. Рекомендация: не умирай слишком тупо — это портит статистику.

Я сел. Прямо на порог капсулы, на искорёженный край люка, свесил ноги в папоротник и некоторое время просто дышал. В голове у меня была каша — настоящая, густая, в которой плавали обрывки: билборд, перегрузка, рыжая строчка, запах гнили. А поверх этой каши — вот эти издевательские строчки, спокойные, ровные, насмешливые. Мало того что меня уронили в самую глухую дыру этого мира, так эта дыра ещё и с чувством юмора. И — странное дело — именно это меня в итоге и убедило, что всё по-настоящему. Не крушение. Не чужой лес. Не пропавшая связь. А вот этот сухой, спокойный троллинг невидимой строки в моей голове. Потому что галлюцинация, думал я, так не хамит. Бред, помешательство, сотрясение

— они не язвят. Так язвит только что-то, что считает тебя мелким. Мелким, смешным и заранее приговорённым.

Я потом много, очень много думал, кто и зачем засунул нам всем в черепа эту штуку. Кто «закинул» Невод, на кого, по какому праву. Думал годами. Но тогда, в тот первый час, я ни о чём таком не думал. Тогда я думал про воду — потому что в горле у меня было сухо, как в выхлопной трубе, и фляга была на треть, а это, я уже смутно понимал, очень, очень мало. И думал про свет — про то, что зеленоватое марево над головой, кажется, понемногу густеет, темнеет, клонится к вечеру. А значит, скоро стемнеет. А значит, у меня есть, может быть, пара часов, чтобы решить, где и как я проведу свою первую ночь на этой планете. И доживу ли до второй.

Я отхлебнул из фляги — чуть-чуть, на один глоток, растянул его, как в детстве растягивал последнюю газировку, — заел четвертью бруска (картон, точно картон, только с меловым привкусом) и попробовал думать как взрослый человек, а не как мужик, которого только что предал весь мир.

План «а»: найти других колонистов. Где-то же они есть. Нас сбрасывали волнами, это было в контракте, в той части, что про «вы не будете одиноки». Значит, где-то за этими башнями-деревьями стоят купола, живут люди, работает рация, и кто-нибудь нальёт мне воды и объяснит, в какую именно дыру я угодил.

План «б»: дожить до плана «а».

С планом «б» сложности возникли сразу.

Папоротник слева от меня дёрнулся.

Не от ветра — ветра тут не было вообще, воздух стоял стеной, тёплый, влажный, неподвижный. Лист дёрнулся сам по себе, снизу, будто кто-то задел его, пробираясь понизу. Я замер с бруском у самого рта. И вдруг понял, что стрекочущий гул, к которому я уже притерпелся, который стал для меня фоном, — смолк. Разом. По всему лесу. Так в деревне разом замолкают собаки, когда в темноте мимо проходит кто-то, кого они боятся больше, чем чужих.

Из зелени, раздвинув папоротник плоской тупой мордой, вышло существо.

Размером с крупную собаку — с овчарку, может, с кавказца. Только собаку эту словно собирали по словесному описанию, ни разу не видев оригинала. Шесть лап — низко посаженных, широко расставленных, разъезжающихся по мягкой земле. Плоская голова без ушей, без видимой шеи, переходящая сразу в покатое, пластинчатое тело. Вместо глаз — три мутных, белёсых бельма, расставленных неровным треугольником, и эти бельма не моргали, не бегали, просто тускло смотрели в никуда. А по хребту, вдоль всей спины, выступали знакомые уже светящиеся капли — те же, что сочились из деревьев, тусклые, тёплые на вид бусины, будто тварь изнутри была налита той же смолой.

Оно повело мордой из стороны в сторону. Принюхалось — я услышал влажный, всасывающий звук. И замерло, направив все три бельма точно на меня.

[Невод] Обнаружена тварь: Пластун. Уровень 2.

[Невод] Он выше тебя уровнем. Смешно, да?

— Обхохочешься, — одними губами, не разжимая зубов, ответил я. И очень, очень медленно, боясь спугнуть резким движением, опустил руку к бедру, где в чехле лежал мультитул.

Пластун не стал ждать, пока я соберусь с духом.

Он прыгнул — не по-собачьи, не с места в карьер, а боком, стремительно, оттолкнувшись сразу всеми шестью лапами, — и я успел только вскинуть предплечье к лицу, инстинктивно, как закрываются от летящего в голову мяча. Зубы — я даже не разглядел, откуда у этой плоской морды взялись зубы, — сомкнулись на рукаве комбинезона. Плотная ткань выдержала. Кожа под ней — не очень. Боль была белая, короткая, стрельнувшая до самого плеча, и в следующий миг мы уже катались по папоротнику: он сверху, я под ним, его кислый, гнилой смрад забивал мне нос и рот, его когти скребли по наколеннику с мерзким визгом, а я орал — без слов, одним

голым голосом, как орёт всякий, кто впервые в жизни дерётся не за правоту, не за место в очереди, не за премию, а за то, чтобы просто остаться целым.

[Невод] Получен урон. Много. Ты вообще дрался когда-нибудь?

Дрался. Один раз. В девятом классе, за школой, из-за какой-то давно забытой ерунды. Проиграл — быстро и позорно, разбили нос, отобрали мелочь.

Но есть большая, огромная разница между дракой за гаражами и дракой за собственную шкуру, и эту разницу знает не голова — её знает тело. То древнее, дочеловеческое, звериное, что просыпается в самой глубине, когда шестилапая мерзость всерьёз, насмерть берёт тебя за руку. Я перестал вырываться. Наоборот — я, против всякого инстинкта, толкнул руку не ОТ пасти, а В неё, глубже, навалился сверху всем своим весом, всеми своими девяноста килограммами отчаяния, подмял тварь под себя, вжал в прелую листву. Пластун захрипел, забился, задёргал лапами, и в этот короткий миг, пока он был прижат и занят, я свободной рукой наконец выдрал из чехла мультитул, большим пальцем откинул лезвие — и ударил. В бок. Между выступающими пластинами. Туда, где, по всему, должно было быть что-то важное.

Раз.

Не хватило. Лезвие скользнуло по чему-то твёрдому, тварь только забилась сильнее, с новой силой.

Ещё.

На этот раз лезвие вошло — глубже, под пластину, во что-то податливое, упругое, лопнувшее под остриём. Пластун завизжал — тонко, высоко, на самой грани слышимости, так, что заломило зубы, — и его задние лапы с силой вспороли мне бедро сквозь плотную ткань комбинезона. Я взвыл вместе с ним, в голос, но руку не отнял, не разжал. Я бил. Бил, матерясь сквозь стиснутые зубы, не считая ударов, не помня себя, в ту же дыру, глубже и глубже, пока визг не захлебнулся, не перешёл в бульканье, пока шесть лап не обмякли одна за другой, пока Пластун не перестал быть врагом, угрозой, кошмаром — и не стал просто тяжёлой, вонючей, мёртвой тушей, придавившей меня к земле.

Я спихнул его с себя. С трудом — он был тяжёлый, обмякший, неудобный. И остался лежать рядом, на спине, глядя в зелёное небо без солнца, хватая ртом влажный воздух. Руки тряслись крупной дрожью. Бедро горело огнём. Рукав намок — не пойми чем, своей кровью или его сукровицей. Где-то в самом уголке зрения невозмутимо, буднично, как ни в чём не бывало, мигало:

[Невод] Тварь повержена. Надо же. Опыт +40.

[Невод] Уровень 2. +1 к распределению. Выносливость подросла сама — от ужаса, надо полагать.

А потом я заметил жилу.

Из раны — из той дыры, что я проделал в боку твари, — медленно, толчками выступала светящаяся смола. Та самая, что капала с деревьев, что бусинами сидела у Пластуна на хребте. Тягучая, тёплая на вид, живая. Она собиралась в каплю на краю раны, набухала, тяжелела — и тянулась. Но не вниз, не по закону тяжести, как положено любой нормальной капле. В сторону. Ко мне. К моей разодранной, окровавленной, лежащей в листве руке.

Я должен был испугаться. По-хорошему — отползти подальше, встать, не трогать светящуюся жижу, вытекающую из нутра инопланетной твари, которую я только что убил. Любой нормальный, здравомыслящий человек так бы и сделал. Отравлено. Заразно. Опасно. Не тронь.

Но рука горела от укуса. Кровь толчками шла из распоротого бедра. Небо темнело. Я был один — совсем, абсолютно один, за миллионы километров от всего, что когда-либо знал. И где-то на уровне того же древнего, звериного инстинкта, что минуту назад толкнул мою руку в пасть и спас мне жизнь, я вдруг понял — с полной, спокойной, окончательной ясностью, не рассуждением, а нутром: это не яд. Это — то, ради чего здесь всё.

Я протянул пальцы и коснулся капли.

Жила втянулась под кожу мгновенно и жадно — как вода уходит в сухую, растрескавшуюся, годами не поёную землю.

Больно было так, что я заорал в голос — во всю глотку, запрокинув голову, — и распугал бы половину леса, если бы в этом лесу хоть кто-то ещё оставался меня бояться. Боль прошла по руке, по плечу, по всему телу разом — горячей, выгибающей спину судорогой, — а потом схлынула, так же внезапно, как накатила. И укус на предплечье… стянулся. Не зажил начисто, нет — стянулся, грубо, наспех, будто кто-то невидимый торопливо сметал края раны на живую нитку, кое-как, лишь бы держалось. Кровь на бедре унялась, запеклась. В голове прояснело, разом, будто кто-то изнутри протёр запотевшее, грязное стекло.

А по глазам встало новое:

[Невод] Жила усвоена. Регенерация запущена. Характеристики стабилизированы.

[Невод] Отметка: единица проявляет повышенную совместимость.

Я ждал продолжения. Очередной подколки, ехидства, «не привыкай». Невод молчал. А потом — после паузы, которой прежде, за все эти минуты, ни разу не было, — добавил ещё одну строку. Медленно. Будто не мне. Будто сам для себя:

[Невод] …

[Невод] Интересно.

Три точки. И «интересно».

Тогда я не придал этому никакого значения. Мало ли что пишет говорливая строчка в голове, мало ли слов у неё в запасе. Я не знал — и ещё очень, очень долго не узнаю, — что Невод вообще-то так ни с кем не разговаривает. Что он не задумывается, не делает пауз и что ему никогда, ни при каких обстоятельствах не бывает «интересно». Что эта пауза и это одно обронённое слово — первая крохотная трещина в чём-то огромном, холодном, очень старом и очень терпеливом, что считало всех нас — меня, девушку с билборда, миллионы сброшенных, уснувших, уроненных не туда колонистов — просто цифрами в чьей-то бесконечной, равнодушной статистике. Если бы я был тогда поумнее, повнимательнее, я бы прислушался к тому холодку, что пробежал по спине в этот миг, непонятно откуда. Но я был уставшим, напуганным, израненным работягой, который только что впервые в жизни кого-то убил — и сам при этом не сдох.

Так что я просто сел над остывающей тушей, зажал ладонью саднящее, запёкшееся бедро, посмотрел на грубо стянувшийся укус у себя на предплечье — и подумал первую за весь этот бесконечный день по-настоящему трезвую мысль:

«Ладно. Один раз выжил. Значит, можно и второй».

Небо — зелёное, мутное, без единого солнца — медленно темнело. Воздух холодал, из тёплого становясь просто влажным, а потом и зябким. Где-то далеко, в самой глубине этого невозможного леса, снова, осторожно, завёлся стрекочущий гул — но уже другой, ночной, ниже и реже дневного, — и мне очень, очень не хотелось встречать эту первую ночь под открытым небом, рядом с мёртвой, остывающей тушей, запах которой наверняка уже учуял кто-то, кто покрупнее Пластуна.

Я тяжело поднялся — бедро отозвалось тупой болью, но держало. Подобрал липкий от чужой крови мультитул, вытер о папоротник, сложил, сунул в чехол. Оглянулся на свою капсулу — на эту покорёженную, пробитую жестянку, которая привезла меня сюда через полмира и больше уже никуда не повезёт. И понял, глядя на неё, что это теперь мой дом.

Первый дом в моей новой, замечательной жизни с чистого листа.

Глава 2. Первая ночь

Мёртвого Пластуна я оттащил от капсулы.

Это оказалось труднее, чем я думал. Намного труднее. Весил он как мешок с мокрым песком — обмякший, неудобный, растекающийся, — и хватать его было решительно не за что: гладкий, пластинчатый, скользкий от собственной светящейся сукровицы, он выскальзывал из

рук, как огромная дохлая рыбина. Я пробовал и так, и эдак — за лапу, за складку на боку, подпихивая ногой, — пока наконец не ухватил тварь за заднюю лапу обеими руками и не поволок, упираясь каблуками в мягкую, подающуюся землю, отплёвываясь от кислого гнилого запаха, которым пропитался уже, кажется, насквозь, до самых костей.

Оттащил метров на тридцать, не меньше. В заросли, за поваленный ствол — толстый, замшелый, светящийся жилой в трещинах коры. Логики в этом было, если честно, немного. Я не следопыт, не охотник, я мужик, который до вчерашнего — или сегодняшнего, время тут поплыло — дня считал дикой природой парк за торговым центром, где по выходным жарили шашлык. Но одну простую вещь даже такой городской мужик понимает нутром, без всяких книжек и роликов: если ты убил кого-то, кто вонял на весь лес, не надо ложиться спать рядом с этой вонью. Потому что на запах крови, на запах мёртвого мяса — приходят. Кто именно приходит на этой планете, я ещё не знал. И очень, очень не хотел узнавать в лицо, тем более ночью, тем более в первую же ночь.

Вернулся я к капсуле уже на подгибающихся, ватных ногах. Бедро, распоротое задними лапами твари, саднило при каждом шаге — жила стянула его, да, но «стянула» и «залечила» оказались, как я теперь понимал, очень разными словами. Было похоже, будто рану не зашили как следует, а просто крепко зажали прищепкой: держится, пока не дёргаешь, а дёрнешь — разойдётся. Так что я старался не дёргать. Ковылял осторожно, бережа ногу, как бережёшь надтреснутую чашку, которую ещё можно поберечь, если не ставить в горячую воду.

Небо — зелёное, мутное, без единой звезды, без луны, без хоть какого-нибудь ориентира — темнело на глазах. Не так, как у нас дома, где закат тянется и красит полмира в розовое и золотое, где есть на что посмотреть напоследок. Здесь свет просто убавляли — ровно, безразлично, минута за минутой, как кто-то невидимый плавно крутил ручку громкости вниз. И с каждой убавленной минутой лес вокруг оживал по-новому, по-ночному. Дневной стрекочущий гул, к которому я уже притерпелся, сменялся другими звуками — ниже, реже, нехорошими. Что-то ухало вдалеке — утробно, с присвистом. Что-то коротко, пронзительно вскрикивало и тут же обрывалось, будто его съели на полуслове. Один раз совсем близко, за стеной папоротника, хрустнула ветка — сухо, громко, — и я влетел в капсулу так стремительно, что приложился макушкой о косяк люка и на секунду увидел перед глазами те самые искры.

Люк я закрыл.

Створка, которую я с таким трудом и матом выдирал наружу, обратно пошла, как ни странно, охотно — щёлкнула, встала в паз, будто и рада была закрыться от того, что снаружи. Изнутри, в полумраке, обнаружился ручной запор — простая железная скоба, аварийная, на случай отказа электрики, — и я задвинул её с таким чувством, с каким когда-то, в другой жизни, запирал дверь родной съёмной квартиры от коллекторов, названивавших по ночам. Почти то же самое, если вдуматься. Только коллекторы снаружи были теперь покрупнее. И по телефону не звонили.

Внутри было тесно, темно и пахло горелым пластиком — и этот запах, от которого утром, когда я очнулся вниз головой, меня чуть не вывернуло, теперь показался мне почти домашним. Своим. Человеческим, механическим, понятным — запахом техники, а не гнили. Я сел на бывшую стенку, ставшую теперь полом, подтянул колени к груди, обхватил их руками и впервые за весь этот бесконечный, выворачивающий день позволил себе просто посидеть. Не выживать. Не тащить. Не драться. Не думать, что дальше. Просто посидеть в темноте, в тесноте, в относительной — очень относительной — безопасности.

Руки начали трястись минут через пять.

Отходняк. Я где-то читал — или слышал, или видел в кино, не помню, — что так и бывает: тело держится, собранное, пока надо, пока угроза, пока работа; а потом, когда отпустит, когда можно, оно вдруг вспоминает всё разом — весь пережитый ужас, всю боль, всю близость смерти — и выдаёт запоздалый счёт. Меня колотило мелко и противно, зубы отбивали дробь,

пальцы прыгали, и я ничего не мог с этим поделать — только обхватил себя покрепче и пережидал, как пережидают подкатившую тошноту: не борясь, а просто перетерпливая.

[Невод] Тремор, потоотделение, учащённый пульс. Поздравляю: у тебя шок.

[Невод] Это пройдёт. Или не пройдёт. Тогда это уже не моя проблема.

— Спасибо, — просипел я в темноту, не разжимая стучащих зубов. — Утешил. Прям согрел.

И — вот что странно — помогло. Злость. Хоть какая-то, хоть на хамоватую строчку в собственной голове, но живая, тёплая злость вытеснила часть холодного, липкого страха. Я уцепился за эту злость, как цепляются за протянутую руку, подышал через неё — медленно, глубоко, считая вдохи, — и постепенно дрожь унялась. Сначала в руках, потом в челюсти, потом ушла совсем, оставив только слабость и гулкую пустоту внутри.

А потом стало холодно.

Не сразу. Исподволь. Днём воздух на Эпсилоне-6 — хотя тогда я ещё не знал, что планета так называется, для меня это была просто «тут» — стоял тёплый и влажный, как в теплице, как в прачечной. Но тусклое зеленоватое солнце, или что там было вместо него, ушло за край мира, и тепло уходило вместе с ним — быстро, неумолимо, будто из пробитого мяча. Комбинезон держал плохо: плотный, да, с наколенниками, но для работы, для склада, а не для ночёвки в холодной жестянке посреди чужого ночного леса. Я поёжился, обхватил себя крепче, потом, спохватившись, пошарил в полумраке по капсуле руками — и нащупал в одном из высыпавшихся отсеков аварийное одеяло. Тонкую шуршащую фольгу в запаянном пластиковом пакетике — такие кладут в автомобильные аптечки «на всякий случай». Я надорвал пакет, развернул одеяло — оно зашуршало на весь крохотный салон так громко, так резко, что я замер, похолодев: а вдруг снаружи слышно? Вдруг эта фольга сейчас шуршит на весь ночной лес, как маяк: тут человек, тут мясо, тут ужин? Потом обругал себя за паранойю. Потом подумал, что паранойя здесь, на этой планете, кажется, называется другим, более уважительным словом — «здравый смысл», — и перестал себя ругать. Закутался в фольгу, подоткнул под бока. Чуть-чуть, самую малость, стало теплее.

Есть хотелось зверски.

Весь день — крушение, драка, таскание туши — я почти ничего не ел, если не считать той четвертинки бруска. Я достал из сумки второй брусок пайка, развернул серебристую фольгу — она тоже зашуршала, но на этот звук я уже махнул рукой, — и вгрызся. Картон с меловым привкусом, я уже знал. Но голодному и картон — пир, и я сжевал половину бруска, медленно, тщательно, заставляя себя не глотать кусками, а именно жевать, растягивать, обманывать пустой, сводимый голодом желудок. Вторую половину, сколько ни ныло внутри, я убрал обратно в фольгу, в сумку. Три бруска. На неизвестно сколько дней. Арифметика была простая и очень, очень невесёлая, и я предпочёл о ней пока не думать. Запил двумя скупыми глотками из фляги. Фляга отозвалась почти пустым, гулким бульканьем — ещё одна арифметика, ещё невеселее.

Вода. Завтра — первым делом вода. Это я заучил намертво, как таблицу умножения. Без еды человек протянет неделю, а то и дольше, это я откуда-то знал. А без воды — трое суток, и это я помнил даже не из выживательных роликов, которые смотрел вполуха, лёжа на продавленном диване, а из какой-то давней телепередачи про экстремальные ситуации. В той, прежней жизни, где главной экстремальной ситуацией была просрочка по кредитке и неотвеченный звонок с незнакомого номера.

Я вдруг очень ясно, до рези, вспомнил тот диван.

Продавленный, в бурую клетку, с несмываемым пятном от пролитого когда-то чая на левом подлокотнике. И Меган — как она стоит в дверях кухни, скрестив руки на груди, в своём линялом домашнем, и говорит ровным, уставшим, выцветшим голосом, от которого всегда,

всю последнюю пару лет, было хуже, чем от любого крика: «Дэйв. Я больше так не могу. Ты же понимаешь, что я больше так не могу».

Понимал. Я всё понимал. Поэтому и подписал тот контракт в итоге. Подъёмные за колонизацию «в один конец» — сумма, которую мне на Земле было не заработать и за десять лет, — закрыли долги, все, под ноль, а остаток ушёл ей. Ей и дочке. Я сделал, кажется, единственную по-настоящему полезную, весомую вещь за последние несколько лет своей никчёмной жизни: убрал себя из уравнения так, чтобы от этого хоть кому-то стало легче. Красивый жест, если со стороны. Благородный даже. Правда, предполагалось, по рекламе, по контракту, по мелкому шрифту, что благородный Дэйв будет копать аккуратные грядки под чистым куполом на обустроенной планете, слать домой бодрые весточки и считать себя почти героем. А не трястись в пробитой капсуле, кутаясь в аптечную фольгу, с подранным бедром, с чужой кровью под ногтями и с издевательской строкой в голове.

— Ну, хоть долги закрыл, — сказал я вслух, глухо. Голос в тесной капсуле прозвучал жалко, и я поморщился от того, как жалко. — Молодец, Дэйв. Герой. Орден бы тебе.

Невод промолчал. Даже ему, при всём его ехидстве, видимо, нечего было к этому добавить. А может, он, по-своему, тоже умел иногда вовремя заткнуться.

Чтобы не думать больше про диван, про Меган, про дочку, которую я, скорее всего, уже никогда не увижу, — потому что контракт в один конец, потому что отсюда не возвращаются, — я занялся делом. Точнее, попробовал заняться. Разобраться с тем, что со мной вообще творится. Весь день было не до того: утром не до того, потому что страшно, непонятно и вниз головой; днём не до того, потому что дрался за жизнь. А теперь, запертый, закутанный, сытый на половину картонного бруска, в относительной безопасности, я мог наконец спокойно, без спешки, поковыряться в этой новой штуке у себя в черепе.

— Эй, — сказал я негромко, в темноту. — Невод. Ты меня слышишь?

[Невод] Слышу. Я всегда слышу. Это, кстати, не комплимент и не угроза. Просто факт. Привыкай.

— Покажи… — я замялся, не зная, как это правильно называется, какими словами с ним говорить. — Покажи, что там у меня. Ну. Цифры. Что ты там насчитал.

На секунду ничего не произошло. Темнота, звон в ушах, далёкое уханье за стенкой. А потом перед глазами — бледными, ровными буквами поверх черноты — развернулось несколько строк. Немного. Я почему-то ждал целую простыню, таблицу во весь экран, со шкалами, полосками, деревьями умений, как в тех играх, что я гонял в молодости, в другой, лёгкой жизни. А тут было скупо, сухо, почти оскорбительно коротко:

[Невод] Единица: жива.

[Невод] Уровень: 2.

[Невод] Тело приведено к норме твоего вида +чуть-чуть. «Чуть-чуть» — это моя щедрость. Не привыкай.

[Невод] Нераспределённое: 1.

— И всё? — я даже обиделся, по-детски, непонятно на что. — А характеристики? Сила там, ловкость, живучесть, я не знаю… Как в играх.

[Невод] Тебе нужны слова? Хорошо, будут тебе слова. Ты стал немного выносливее. Ты это сам почувствуешь — когда опять побежишь. А ты побежишь, Дэйв, можешь не сомневаться. Тут все рано или поздно бегут.

[Невод] Циферки — для тех, кто любит циферки. Толку от них примерно как от ценника, наклеенного на воздух. Важно не число. Важно одно: сдохнешь ты завтра или всё-таки нет.

Я хмыкнул, помимо воли. В этом было что-то… честное, что ли. Неожиданно честное для издевательской строчки в голове. Никаких тебе красивых полосок опыта, ползущих к следующему уровню, никаких деревьев навыков с подсветкой и описаниями. Просто: стал чуть

крепче. Почувствуешь телом, когда припрёт. А пока — не сдохни. И почему-то именно эта сухая честность, это нежелание меня развлекать красивыми цифрами убедили меня в реальности происходящего ещё сильнее, чем всё остальное.

— А это «нераспределённое»? — спросил я. — Единица. Это куда? Это я могу… вложить?

[Невод] Это твоё. Заработанное. Можешь вложить — в силу, в выносливость, в живучесть, во что сам надумаешь. Можешь копить. Можешь, как подавляющее большинство, сдохнуть, так и не поняв, что это вообще было и зачем давалось.

[Невод] Совет, которого ты не просил, но который я, так и быть, дам. Пока — не трать. Ты ещё не знаешь, чего тебе по-настоящему не хватает. А это, поверь моему долгому опыту наблюдения за такими, как ты, выясняется очень быстро и очень болезненно. Прибереги. Узнаешь — вложишь куда надо.

Я подумал — и решил не трогать. В кои-то веки, впервые за долгое время, решил не быть умнее всех, не хвататься за первое попавшееся, а послушать. Приберечь. Логика у меня была простая, работяжья, складская: если не уверен, какой инструмент тебе сейчас нужен, — не лезь в ящик наугад, не хватай первое, что под руку легло, а дождись, пока поймёшь, что именно чинишь. Тогда и возьмёшь — точно, по делу.

Разобравшись — насколько тут вообще можно было разобраться, — я закрыл глаза. Ненадолго, думал. Просто дать им немного отдохнуть, векам тяжело, день был длинный.

Разбудил меня звук.

Вернее — отсутствие звука.

Я проснулся от того, что стало слишком тихо. Весь ночной лес — всё его низкое уханье, перекличка, редкие вскрики, шорохи, вся та фоновая жизнь, к которой я уже притерпелся, засыпая, — всё это разом смолкло. Так же, как днём замолчали цикады — или что там у них было вместо цикад — перед Пластуном. Только теперь тишина была другая. Больше. Глубже. Будто весь огромный лес разом затаил дыхание и вжался в землю, стал меньше, незаметнее, пережидая.

Я лежал в темноте капсулы, завёрнутый в фольгу, и не шевелился.

И услышал шаги.

Тяжёлые. Медленные. Каждый шаг — глухой, низкий, басовый удар, идущий через землю, который я чувствовал не ушами, а рёбрами, позвоночником, затылком, прижатым к холодному металлу. Бум. Долгая пауза. Бум. Что-то очень большое шло через лес — не торопясь, уверенно, по-хозяйски, — и с каждым шагом это «что-то очень большое» в моём воображении становилось просто «огромным». Я слышал, как под его невообразимым весом поскрипывают, потрескивают те самые деревья-башни в три обхвата — не ломаются, нет, а неохотно поскрипывают, будто отодвигаясь с дороги, как отодвигают рукой докучливые кусты.

Бум. Ближе.

Бум. Совсем близко.

Я перестал дышать. Буквально — зажал себе рот ладонью, обеими ладонями, и перестал дышать, хотя в груди всё горело и требовало воздуха, хотя сердце колотилось так, что казалось — его слышно снаружи, через обшивку, через весь лес. Фольга одеяла при одном моём движении предательски шуршнула — тихо, еле-еле, — и этот ничтожный шорох показался мне грохотом, выстрелом, воплем во всю глотку на весь ночной лес: ЗДЕСЬ! ОН ЗДЕСЬ! ТУТ! ВОТ ОН!

Шаги замерли.

Прямо рядом с капсулой. Метрах в пяти. Может, в трёх. В темноте, за тонкой — такой тонкой, такой жалкой — металлической стенкой, которую ещё утром я с досадой пинал ногами и которая вдруг стала единственным, что отделяло меня от чего-то, по сравнению с чем Пластун, едва меня не загрызший, был просто расшалившимся котёнком.

Потянуло запахом. Не кислым, гнилым, как от Пластуна, — другим. Холодным. Минеральным. Как тянет из глубокого погреба, из каменного колодца, из только что разрытой, сырой земли. Из могилы. И сквозь этот холодный запах я услышал дыхание — медленное, с протяжным присвистом, объёмом с кузнечные мехи, с целую комнату. Вдох — долгий, всасывающий. Выдох — тяжёлый, с хрипотцой. Оно нюхало. Оно стояло прямо у моей капсулы и нюхало — воздух, землю, металл, меня. Искало. Решало.

[Невод] …

Даже Невод, кажется, не стал острить. Строчка повисела — три точки, пустые, молчащие, — и погасла. И вот это молчание напугало меня сильнее любого его хамства, сильнее даже дыхания за стенкой. Потому что если уж ЕМУ, этой ехидной, всезнающей, ничего не боящейся строке, вдруг нечего было сказать — значит, дело и впрямь было хуже некуда.

Я сидел, зажав рот обеими руками, и по щекам у меня текло — не знаю что, пот или слёзы, в темноте не разберёшь, да и какая разница. Я думал только одно, тупо, по кругу, как заклинание: не чувствуй меня, не чувствуй меня, не чувствуй, не чувствуй. Капсула пахла горелым пластиком и металлом — может, этот резкий технический запах перебивал мой, живой, тёплый, вкусный. Может, тварь не умела думать про «коробки» — что внутри мёртвой железной коробки может прятаться живое мясо. Может, ей просто было лень ковырять твёрдую жестянку ради одной мелкой порции. А может — просто повезло. В кои-то веки, впервые за очень, очень долгое время, повезло именно мне, Дэйву Куинну, которому не везло отродясь.

Дыхание с присвистом отодвинулось. Бум — шаг в сторону. Бум — ещё один, дальше. Огромная тяжёлая туша уходила, и земля под ней вздрагивала всё тише, тише, глуше, пока удары не растаяли совсем где-то в чёрной глубине ночного леса. А потом — не сразу, минуту спустя, может, две, которые тянулись как часы, — осторожно, вразнобой, по одному, лес начал оживать снова. Робкое уханье. Неуверенный стрёкот. Далёкий короткий вскрик. Жизнь выдохнула, расправилась и вернулась к своим ночным делам, будто ничего и не было.

Я отнял ладони ото рта и втянул воздух так, будто вынырнул с огромной глубины, — шумно, жадно, со всхлипом. Руки опять тряслись, и в этот раз я даже не пытался их унять. Просто сидел, завёрнутый в шуршащую фольгу, в пробитой капсуле, на чужой холодной планете, за миллионы километров от всего, — и беззвучно, трясясь всем телом, не то смеялся, не то плакал, сам уже не разбирая, что именно делаю и почему.

[Невод] Поздравляю. Ты только что не обделался при встрече с тем, кого тебе не положено видеть ещё очень долго. Это, поверь, засчитывается.

[Невод] Опыт за такое, увы, не дают. Считай, что сама жизнь — уже награда. Тебе так сейчас не кажется, я понимаю. Но мне виднее.

— Иди ты, — выдохнул я, вытирая лицо тыльной стороной трясущейся ладони. И впервые за весь этот кошмарный, бесконечный день — улыбнулся. По-настоящему. Криво, мокро, через силу, но по-настоящему. Потому что если эта сволочь снова принялась хамить — значит, всё ещё живой. Значит, пронесло. Значит, не сегодня.

Больше я в ту ночь не спал.

Сидел, завернувшись в фольгу, привалившись спиной к холодной стенке, с мультитулом в кулаке, и слушал лес. Учился его слушать — всерьёз, внимательно, как учатся делу, от которого зависит жизнь. Отличать стрёкот от уханья. Уханье — от вскриков. Безобидную мелкую возню в папоротнике у самой капсулы — от той огромной, холодной, вжимающей весь мир в землю тишины, которая, я теперь знал намертво, означает одно: идёт большой. Голод и холод никуда не делись — живот подводило, пальцы на ногах закоченели в ботинках, — но они странным образом даже помогали мне не раскиснуть, не уплыть в панику. Потому что пока тебе холодно и хочется есть, ты занят простым, понятным, человеческим, телесным. А не тем безымянным ужасом, что несколько минут назад дышал за тонкой стенкой.

Под утро — задолго до того, как зелёный свет снаружи начал робко прибавляться, — я поймал себя на мысли, от которой самому стало слегка не по себе. Я больше не думал про диван. Про Меган в дверях кухни. Про долги, про биржу, про ту прежнюю жизнь. Я думал про воду. Про то, где её тут искать — в низине, наверное, вода собирается в низинах, это и городскому понятно. Про то, можно ли есть Пластуна и не отравлюсь ли я насмерть первым же куском. Про то, как бы изловчиться добыть огонь — без спичек, без зажигалки, из ничего. Про то, что аварийное одеяло надо беречь как зеницу ока, а распоротое бедро — перевязать по-человечески, пока жила ещё держит края.

Я думал как человек, который собирается жить. Не доживать, цепляясь, а именно жить — завтра, послезавтра, долго.

Не знаю, в какой именно момент это во мне щёлкнуло, перевернулось. Может, когда я волок тяжёлую тушу, обливаясь потом. Может, когда огромное, безымянное нечто обнюхивало мою жестянку, а я молчал, зажав рот, и не умер. Но где-то в этой первой, бесконечной, ледяной, страшной ночи прежний Дэйв Куинн — тот, что возвращался с биржи, поднимал воротник от ветра и десять минут тупо пялился на билборд с девушкой в белом, — тихо, незаметно отступил куда-то в сторону. А на его место сел кто-то другой. Пока ещё такой же напуганный. Такой же никто, без имени и веса. Но уже злой. Уже упрямый. Уже решивший — твёрдо, по-работяжьи, без красивых слов, — что просто так, задёшево, он в этот Невод не дастся.

Свет за стенкой начал медленно, нехотя прибывать. Зеленоватый сумрак редел.

Я размял закоченевшие, негнущиеся пальцы, подышал на них, отодвинул скобу запора — осторожно, медленно, вслушиваясь, — и приоткрыл люк. На палец. На два. Утренний лес встречал меня тем же ровным зеленоватым светом, той же влажной духотой, тем же разгорающимся стрекочущим гулом. Как будто никакой ночи и не было. Как будто ничто огромное, холодное, пахнущее могилой не проходило тут несколько часов назад, в трёх метрах от моей головы, отделённое от неё одним тонким листом металла.

В горле пересохло до боли, до царапанья. Фляга была пуста — я допил её ночью, не заметив, машинально.

— Ладно, — сказал я сам себе, и голос прозвучал уже не так жалко, как вечером. Хрипло, сорванно, но ровно. — Вода. Идём за водой.

Я толкнул люк и выбрался в своё первое утро на Эпсилоне-6.

Глава 3. По воду

Первое, что я сделал, выбравшись поутру из капсулы, — пометил её.

Звучит глупо. Взрослый мужик первым делом в новом страшном мире привязывает к ветке тряпочку. Но это было, пожалуй, самое умное решение за всё то утро, а может, и за первые несколько дней. Потому что лес вокруг стоял абсолютно, пугающе одинаковый во все четыре стороны: те же деревья-башни, те же папоротники по грудь, тот же ровный зеленоватый свет без теней, по которому не поймёшь, где восток, где запад, где юг, который вообще час и в какую сторону ты пришёл. Отойди на двести метров за водой или за добычей — и капсулу, мой единственный дом, мою крепость, в которой я чудом пережил первую ночь, я уже не найду. Закружусь, собьюсь и сдохну где-нибудь в трёхстах шагах от спасения, как те незадачливые грибники, которых каждую осень вытаскивают из подмосковного леса спасатели с собаками. Только меня вытаскивать было некому. Ни спасателей. Ни собак. Ни леса, который я знаю.

Поэтому я повозился. Не пожалел времени.

Отодрал от края аварийного одеяла длинную узкую полосу фольги — она хоть и тускло, но всё же бликовала, ловила зеленоватый свет, — и примотал её к ветке повыше, так, чтоб видно было издали, с нескольких десятков шагов. Потом мультитулом, лезвием, сделал на коре ближайшего дерева глубокую, приметную зарубку. Светящаяся смола тут же начала сочиться из свежего надреза, набухать, собираться в тяжёлую каплю. Я посмотрел на неё — уже с новым, с понимающим интересом, не как вчера. Жила. Та самая, что втянулась мне под кожу и стянула

рану. Она тут была в каждом стволе, в каждой трещине. Весь этот лес, если вдуматься, если посмотреть трезво, был одной огромной кладовой, доверху набитой той самой субстанцией, за которую кто-то где-то, наверное, готов был убивать. Я пока не знал, можно ли её брать прямо из живого дерева, что при этом будет, не хлынет ли оттуда какая беда, — и трогать не стал. Но зарубку запомнил. И мысль отложил.

Сделав ещё три таких зарубки на деревьях в линию — чтобы вышла тропка, по которой можно будет найти дорогу обратно, — я закинул пустую флягу на плечо, взял мультитул поудобнее и пошёл искать воду.

Логика была простая, из той самой давней телепередачи с дивана, которую я смотрел вполуха: вода течёт вниз. Значит, надо найти уклон — и идти по нему, вниз, к низине, к ложбине, куда всё стекает. Уклон я нащупал ногами не сразу: под толстым, пружинящим ковром прелой листвы рельеф не чувствовался, земля казалась ровной. Но минут через десять осторожной ходьбы я поймал его — едва заметный, земля чуть-чуть уходила влево и вниз, еле-еле, но постоянно. Я двинулся туда, в эту сторону, и через каждые несколько десятков шагов делал новую зарубку на подвернувшемся дереве, метил путь. Лезвие тупилось о жёсткую, упругую кору, рука уставала, плечо ныло, — но я упрямо, нудно, методично метил и метил свою тропку. Работяга в незнакомом лесу — это прежде всего не тот, кто смел или силён. Это тот, кто не ленится делать нудную, занудную, многократную, спасающую жизнь мелочь. Кто проверяет дважды. Кто метит дорогу назад, даже когда кажется, что и так запомнишь. Эта нудная бережливость не раз ещё меня вытащит.

Воду я услышал раньше, чем увидел.

Тихий, ровный, прохладный звук — журчание, бормотание бегущей по камням воды, — от которого в пересохшем, царапающем горле у меня аж свело, рот наполнился горькой слюной. Я прибавил шагу, продрался сквозь особенно густые, высокие заросли, где жёсткие листья хлестали меня по лицу и плечам, оставляя зудящие полосы, — и вышел к ручью.

Он был неширокий, мне по колено, с медленной, тёмной, почти чёрной в зеленоватом свете водой, что текла между корней по каменистому ложу, огибая валуны. Вода на вид была чистая. На вид. Я опустился на корточки у самой кромки, у влажного, прохладного края, зачерпнул ладонью — вода была холодная, чистая, без запаха, разве что чуть-чуть, еле уловимо отдавала тем самым минеральным, погребным, каменным духом, что я слышал ночью от большого зверя, и от этого внезапного воспоминания по спине у меня пробежал неприятный холодок. Я смотрел на воду в сложенной ковшиком ладони, как она подрагивает, и понимал, в чём загвоздка.

Я понятия не имел, можно ли её пить.

Дома, на Земле, всё было бы просто: не уверен — кипяти. Прокипятил десять минут, убил всю заразу, пей на здоровье. А тут — ни котелка, ни огня, ни спичек, ни зажигалки, ровным счётом ничего, чем эту воду вскипятить. Пить сырую воду с чужой, незнакомой планеты — это как облизать перила в инфекционной больнице: может, и обойдётся, повезёт, а может, подхватишь такое, от чего тут, в этом лесу, даже названия нет, не то что лекарства. Но и не пить было нельзя. Совсем нельзя. Без воды я не доживу даже до того, чтобы обзавестись котелком и научиться добывать огонь. Трое суток, помнишь, Дэйв? А одни уже, считай, прошли.

— Эй, — сказал я тихо, глядя в чёрную воду. — Невод. Эту воду — пить можно?

[Невод] Я веду счёт живым. Я не санитарный врач и не справочная.

[Невод] Но так и быть, снизойду. Твой вид это, скорее всего, переварит. Процентов на семьдесят.

— Семьдесят, — повторил я медленно. — А остальные тридцать?

[Невод] А остальные тридцать делают статистику интереснее. Не переживай так. Из тех тридцати мало кто успевает по-настоящему помучиться.

Я подумал, что семьдесят процентов — это, вообще-то, если честно, лучшая гарантия, какую мне давали за последние несколько лет. Банки обещали меньше. Биржа труда обещала меньше. Девушка с билборда обещала всё, а дала вот это. Семьдесят на тридцать — отличный расклад по нынешним меркам. И я выпил. Сначала осторожно, в три маленьких глотка, вслушиваясь в себя, в живот, — не скрутит ли сразу, не обожжёт ли. Не скрутило. Не обожгло. Тогда я напился как следует — долго, жадно, запрокинув флягу, чувствуя, как ледяная, чистая вода проходит внутрь и будит всё тело, разгоняет кровь, смывает ночную муть. Наполнил флягу под горло, закрутил. И впервые подумал про этот ручей с настоящей, тёплой благодарностью, почти с нежностью, как думают о хорошем друге. Вода. У меня есть вода. Маленькая, крохотная победа — но из таких маленьких побед, я уже начинал понимать, тут и складывается всё остальное. Всё большое.

Умывшись, смыв с рук и лица засохшую кровь — свою и Пластунью, — ополоснув саднящие полосы от листьев, я почувствовал себя почти человеком. Почти прежним. И тут же, будто в насмешку, будто в плату за это короткое человеческое чувство, живот свело голодом так, что я согнулся пополам и охнул.

Еда. Полтора бруска картона на всё про всё. Вот и весь мой запас. На ручье, у воды, надо было решать и вопрос с едой.

И вопрос решился сам собой — шагах в двадцати выше по течению.

Там, где ручей разливался шире и мельче, на песчано-каменистой отмели, что-то паслось.

Я замер за папоротником. Пригнулся. И стал вглядываться — осторожно, не высовываясь, памятуя вчерашний урок с Пластуном, который вышел из зелени так же вот внезапно. Существо на отмели было размером с хорошего борова, с доброго кабана, только вытянутое, сегментированное, членистое — ни дать ни взять гусеница-переросток, дождевой червь с мою ногу толщиной. Мягкие, кольчатые, поблёскивающие влагой бока. Короткие, толстые ножки в несколько пар по всей длине тела. Слепая, тупая, безглазая морда, которой оно елозило по мокрым камням отмели, что-то соскребая и с влажным причмокиванием всасывая. Медленное. Жирное. Безобидное с виду — ни когтей, ни клыков, ничего, что я бы заметил и чего стоило бы бояться. И по бокам, под полупрозрачной, натянутой кожей, тускло просвечивали знакомые светящиеся капли. Жила. Оно всё было напитано жилой, насквозь, как губка водой, как соты мёдом.

[Невод] Мотыль. Уровень 1. Травоядное.

[Невод] Не кусается, не бегает, почти не думает. Идеальная добыча для того, кто сам пока толком не умеет ни того, ни другого, ни третьего. Знакомо звучит, да?

— Опять хамишь, — одними губами, не разжимая зубов, ответил я. Но на этот раз почти не обиделся, даже усмехнулся про себя. Потому что Невод был прав, кругом прав: это была добыча ровно по мне, по моим нынешним жалким силёнкам.

И вот тут я сделал то, чем, пожалуй, тихо горжусь до сих пор, спустя всё, что было после. Я не бросился на него. Не кинулся сломя голову, с ножом наперевес, как кинулся бы, наверное, вчерашний, позавчерашний я. Вчерашний Дэйв налетел бы с воплем, и, скорее всего, получил бы какой-нибудь неожиданный, неприятный сюрприз — потому что «безобидный на вид» на этой планете я уже научился, хоть и на своей шкуре, читать как «безобидный ровно до тех пор, пока не выяснится обратное, а выясняется всегда резко». Нет. Я сел на корточки поудобнее, за папоротником, в тени, и стал думать. Наблюдать и думать. Как на работе, как у сложного механизма: прежде чем лезть в него руками, сперва смотришь, слушаешь, прикидываешь — где что крутится, что под напряжением, что тебе оторвёт или ударит, если дёрнуть не ту железку.

Я смотрел на Мотыля минут десять, не меньше. Не шевелясь, терпеливо. И понял за это время три важные вещи.

Первое: он слепой. Или почти слепой. На меня, сидящего открыто, в двадцати шагах, — ноль реакции, он даже морды не повернул. Глаз у него не было вовсе, а те бельма, что я

поначалу принял за глаза, оказались чем-то другим. Значит, глазами его не возьмёшь и глазами же не спугнёшь.

Второе: он чует через воду. Когда выше по течению что-то плюхнулось — то ли рыбёшка какая, то ли камень сорвался, я не разглядел, — Мотыль весь разом подобрался, замер, напрягся, повёл слепой мордой против течения. Значит, чувствует колебания, запах, что-то такое через воду. Значит, идти к нему надо не по воде, не вброд, а посуху, сбоку, с берега, чтоб течение не донесло до него меня.

Третье: бить такую тушу ножом в толстый, мягкий, кольчатый бок — только зря злить. Нож увязнет в жиру, я его только разбужу и разъярю. Надо бить в морду, в ту слепую тупую голову, где наверняка то немногое, что у этой твари есть вместо мозга. Один точный удар — или никакого.

План был так себе. Корявый. Но это был план, продуманный план, а не паника и не авось, — и в этом, я уже начинал понимать, была вся разница между тем, кто выживает, и тем, кто становится кормом.

Я обошёл отмель по берегу — медленно, по одному шагу, замирая всякий раз, когда под ботинком грозила хрустнуть ветка или скрипнуть галька. Мультитул держал обратным хватом, лезвием вниз, к земле, — так мне почему-то казалось правильнее, надёжнее, хотя учить меня этому было некому. Подобрался сбоку, со стороны слепой морды, против ветра, на расстояние вытянутой руки. Мотыль всё скрёб и всасывал камни, причмокивал, ничего не подозревая. Сердце у меня колотилось так, что казалось — слышно на весь ручей, что сейчас эта тварь услышит мой стук и шарахнется.

И я ударил.

Со всей силы, сверху вниз, двумя руками, в основание тупой головы — туда, где она переходила в первое мягкое кольцо тела, в сочленение.

Лезвие вошло легко. Слишком легко — я по инерции чуть не ткнулся лицом в тушу. Мотыль дёрнулся всем своим длинным телом, выгнулся дугой, забил короткими ножками, окатив меня с ног до головы фонтаном холодной воды, песка и тёплой, светящейся, тягучей сукровицы. Я навалился сверху, всем весом, вдавил нож глубже, провернул — внутри что-то лопнуло, хлюпнуло, подалось. Тварь забилась слабее. Ещё слабее. И обмякла, растеклась по камням отмели жирной, неподвижной кольчатой тушей.

Я стоял над ней, мокрый до нитки, тяжело дыша, с ножом в подрагивающей руке. И — вот что странно, вот что я тогда отметил, — почти не было во мне того животного ужаса, той выворачивающей паники, что вчера, в драке с Пластуном. Там я дрался, отбивался, чтобы не сдохнуть, — там решало не умение, а отчаяние. А тут — тут я добыл. Пришёл, посмотрел, прикинул, сделал. Как работу. Как ремонт. И от этого внутри было непривычно, незнакомо — спокойно. Почти хорошо.

[Невод] Добыча повержена. Опыт +15.

[Невод] Надо же. С головой, а не с перепугу. Я почти впечатлён. Почти. Не задирай нос.

А потом я занялся жилой. И вот тут, у этого ручья, на этой отмели, началось то, за что этот мир берёт свою плату. Жестокую плату.

Из распоротого бока и головы Мотыля жила выступала обильно — не капля, как вчера у Пластуна, а целые натёки, потоки светящейся тягучей смолы, живой, тёплой, жадной. Я уже знал, вроде бы, что с ней делать. Знал, что она втянется под кожу и даст силу, стянет усталость, подлатает. Чего я не знал — так это что вчера, у капсулы, я взял случайную, одну-единственную каплю. А теперь передо мной был целый Мотыль, полный этой дряни до краёв, и жадность — та самая простая, понятная, человеческая жадность голодного, слабого, напуганного — шепнула мне на ухо вкрадчиво и убедительно: бери всё. Бери сколько сможешь. Тебе же надо стать сильнее, крепче, тут такие твари, тут такой лес, бери, не глупи, когда ещё будет столько сразу.

Я окунул в натёк обе ладони. Зачерпнул щедро.

Жила втянулась мгновенно и жадно — и боль пришла следом, но не такая, как вчера. Вчера резануло коротко и отпустило. Теперь она входила в меня волной, валом, сплошным потоком — раскалённой проволокой разом по каждому нерву, по каждой жилке в теле, — и не отпускала, не отпускала, не отпускала. Меня скрутило. Я рухнул на колени прямо в ручей, в ледяную воду, и заорал — уже не таясь, плевать на тварей, плевать на того, большого, плевать на весь лес и на всё на свете, — потому что казалось, что меня изнутри выжигают паяльником, что кости плавятся и текут, что сердце сейчас просто лопнет, разорвётся от того, что в него впихивают слишком много силы, слишком быстро, непосильно, насильно.

[Невод] Переоценил себя? Классика жанра. Все так делают. Первый раз.

[Невод] Жила — не еда, Дэйв. Запомни это намертво, если выживешь. Это не еда, которую можно съесть сколько влезет. Это нагрузка. Сколько влил — столько тело и держит. А твоё тело держать пока умеет очень, очень мало.

Сколько это длилось — не знаю. Мне показалось — час, вечность. Наверное, минуту, может, меньше. Волна прошла по всему телу, выгорела, выжгла себя и наконец схлынула, оставив меня на четвереньках в холодном ручье — мокрого насквозь, трясущегося, выпотрошенного, обессиленного так, будто меня пропустили через мясорубку и собрали обратно. Я долго не мог встать. Просто стоял на карачках в воде, упираясь руками в скользкое дно, и дышал, тяжело, с всхлипом, и смотрел, как тёмная вода уносит мимо меня вниз по течению разведённую светящуюся муть, вытекающую из туши.

Но когда я наконец поднялся — пошатываясь, цепляясь за ветку над берегом, — тело было… другим. Чуть-чуть. Руки держали крепче, увереннее. Ноги не так подгибались. Боль в распоротом вчера бедре почти ушла, стянулась окончательно. Я чувствовал себя так, будто меня разобрали до винтика, перебрали, перетрясли и собрали обратно — грубо, наспех, с матом и лишними деталями, но собрали крепче, чем было. Плотнее.

[Невод] Уровень 3. Нераспределённого: 2.

[Невод] Усвоил много. Чудом не сдох — буквально чудом, я уж было начал вычёркивать. Запомни это чувство, Дэйв. Вот это, когда выжигает изнутри. В следующий раз жадность может и не простить.

Он назвал меня по имени.

Я замер, не донеся руки до ветки. Невод звал меня «единица». «Падаль». «Ты». А тут — Дэйв. По имени. Впервые за всё это время. И от этого — сам не знаю почему, никак не могу объяснить — по спине у меня снова прошёл тот самый холодок, что ночью, когда огромное нюхало мою капсулу. Как будто меня — не тело, не циферку в его статистике, не «единицу» — а именно меня, Дэйва Куинна, конкретного человека с диваном, с Меган, с дочкой, — вдруг заметили. Разглядели по-настоящему. Выделили из миллионов. Запомнили.

Я вспомнил ту первую ночь, первую убитую тварь. Три точки и «интересно».

— Ты… — начал я, и голос сорвался, дал петуха. — Ты чего это? По имени-то вдруг?

[Невод] Оговорился.

И строчка погасла. И больше в тот день Невод не сказал мне ни единого слова, сколько я ни звал, ни спрашивал, ни ругался, — как будто сам себя одёрнул, прикусил язык. Как будто сболтнул что-то такое, чего говорить был не должен. Чего нельзя.

Я не стал забивать этим голову. Не до того было, да и голова после передоза работала туго, вполнакала. Передо мной лежала целая туша мяса — пусть чужого, пусть светящегося по бокам, но мяса, настоящего, которое можно есть, — и голод, тупой, животный, оказался сильнее любых загадок про оговорки системы. Я срезал мультитулом кусок с бока, оттуда, где побледнее, где поменьше жилы, понюхал. Пахло… ну, не тухлятиной, уже хорошо. Чем-то сладковатым, грибным. Есть сырым я, пожалуй, всё же побоялся бы — мало ли, — но где-то в дальнем, ещё не до конца проснувшемся после боли углу моей работяжьей головы уже складывалась, собиралась по кусочкам простая, ясная мысль: мясо есть. Значит, нужен огонь.

А раз нужен огонь — будет огонь. Я ж рукастый. Я этот огонь хоть из капсулы, хоть из её дохлой проводки, хоть из искры, хоть из чего — но добуду. Не завтра, так послезавтра. Я всё из чего угодно добывал.

Я отрезал несколько кусков помягче, завернул их в широкий, плотный лист папоротника, сунул за пазуху, к телу. Напился ещё раз из ручья напоследок, от души. Наполнил флягу под самое горло. И, оглянувшись на свои зарубки — тусклую полоску фольги на ветке, белеющие свежие надрезы на тёмной коре, ведущую обратно к капсуле тропку, которую я не поленился проложить, — пошёл домой.

Домой. В пробитую жестянку посреди чужого, страшного леса.

Смешно, но я поймал себя на том, что так и подумал — «домой». Само собой подумалось. И что мне, кажется, впервые за очень, очень долгое время — за годы, если честно, — куда-то хотелось вернуться. Было куда возвращаться.

Глава 4. Огонь

Мясо я повесил снаружи, в тени, подвязав полоской фольги к ветке повыше, — чтоб не достали мелкие, пока я вожусь, и чтоб обдувало. А сам залез в капсулу и занялся самым важным делом за весь этот день, а может, и за всю эту новую, с иголочки, собачью жизнь.

Я собрался добыть огонь.

Понимаю, как это звучит со стороны. Взрослый мужик, сорока лет, радуется огню и носится с ним, как пещерный человек, открывший великое. Но если ты хоть раз в жизни по-настоящему, до костей, мёрз целую ночь напролёт в холодной жестянке и грыз сырой картонный паёк, запивая тёплой тухлой водой, — ты меня поймёшь без слов. Огонь — это не романтика, не песни под гитару, не уютное потрескивание в камине. Огонь — это тепло, которое не даст закоченеть насмерть во сне. Это горячая еда, которая не прокрутит тебе кишки неизвестной заразой. Это кипячёная вода, от которой не сдохнешь на третий день. Это свет в темноте и, главное, — свет, отпугивающий тварей, которые темноты не боятся, а огня боятся все. Огонь — это, без всякого преувеличения, граница. Разница между «я тут выживаю» и «я тут доживаю». А я, как решил ещё той первой, ледяной ночью, твёрдо намеревался именно выживать. Жить.

Спичек у меня не было. Зажигалки не было. Кремня, кресала, увеличительного стекла, умения тереть палочку о палочку до дыма — ничего из того, что показывают в красивых роликах про выживание бодрые загорелые инструкторы, у меня не было и быть не могло. Зато у меня было то, чего не было у пещерного человека, и это меняло всё. У меня была капсула. Дохлая, пробитая, искорёженная — но нашпигованная проводкой, схемами, элементами питания жестянка. Техника.

А где проводка — там, если повезёт, остаточный ток. А где ток — там искра. А искра — это уже почти огонь.

Я полез в требуху капсулы, как лазил когда-то, в прошлой жизни, в нутро старого складского «уазика», у которого вечно что-нибудь отваливалось. Содрал пластиковую внутреннюю облицовку — ту самую, что ещё утром казалась мне просто стенками салона, а теперь была для меня кожухом, под которым прячутся механизмы. Под облицовкой обнаружилось ровно то, что я искал и на что надеялся: жгуты проводов, уходящие от мёртвой панели к погасшим экранам, к датчикам, к аварийным системам. Панель не работала, да. Но это ещё не значило, что в системе совсем, насухо, нет тока. Что-то же держало ту рыжую строчку «ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КОРИДОРА» живой до самого последнего мгновения, уже после удара, после темноты. Где-то тут, в недрах капсулы, был резервный элемент питания — аварийный, автономный, рассчитанный пережить любую поломку. Маленький. Но мне большего и не надо было. Мне нужна была одна искра.

Я провозился долго. Методом тупым, честным, перебором — прослеживал провода руками, искал на ощупь, где теплее, где пахнет не просто пластиком, а работающей, живой электрикой, тем особым запахом нагретой изоляции, который знает каждый, кто хоть раз чинил

проводку. Ободрал костяшки о острые края. Обломал ещё один ноготь — их у меня на этой планете становилось всё меньше. Один раз меня ощутимо, зло куснуло током — щипнуло так, что я отдёрнул руку и выматерился. И тут же, идиот, обрадовался этому укусу, как ребёнок рождественскому подарку. Ток! Живой! Есть! Значит, работает, значит, не зря ковыряюсь.

[Невод] Ты только что намеренно сунул пальцы туда, откуда тебя било током.

[Невод] Либо ты гений, либо кретин. Пока, на основании всего, что я о тебе знаю, ставлю на второе. Но слежу с некоторым интересом.

— Следи-следи, — пробормотал я, высасывая обожжённый, саднящий палец. — Сейчас я тебе покажу кретина.

Дальше была чистая, понятная, любимая работа руками — и в ней я, впервые за двое с лишним суток непрерывного ужаса, почувствовал себя почти дома. В своей тарелке. Нашёл два провода под напряжением — те, что кусались. Зачистил концы лезвием мультитула, аккуратно, до блеска меди. Надрал из мягкой обивки кресла, из его распоротого при ударе нутра, целый клок сухого синтетического пуха — он у меня пойдёт за трут, за растопку. А чтобы трут занялся наверняка, с первой же искры, я добавил к нему то, до чего додумался ещё по дороге домой, от ручья.

Жилу.

Днём, у дерева с первой зарубкой, я заметил, как смола-жила тягучая, маслянистая, тёплая на ощупь. А всё маслянистое и тёплое, подсказывал мне весь мой складской, слесарный, житейский опыт, обычно хорошо, охотно горит. Масло, солидол, смазка — всё это полыхает за милую душу. Я ещё тогда, по дороге, наскрёб лезвием с коры немного этой светящейся смолы в пустую, вылизанную упаковку из-под съеденного пайка — про запас, на пробу. Теперь я капнул этой жилы в синтетический пух, размазал пальцем, пропитал. Пух тускло засветился изнутри, впитав жилу, замерцал зеленоватым.

И свёл оголённые концы проводов.

Искра. Злая, короткая, ярко-голубоватая, с сухим треском. Пух не занялся. Я свёл ещё раз — искра, треск, ничего. И ещё. Руки дрожали от напряжения и усталости, я чертыхался сквозь зубы, провод грел и пощипывал пальцы — и на четвёртый или пятый раз пропитанный жилой пух вдруг вспыхнул. Не затлел нехотя, как обычный трут, а вспыхнул — разом, целиком, жадным, ярким, чуть зеленоватым по краям пламенем, будто только и ждал повода, будто жила внутри рвалась гореть. Жила горела. Ещё как горела.

Я замер на секунду, тупо, заворожённо глядя на живой огонёк, пляшущий в моих сложенных ковшиком, перепачканных ладонях.

А потом заорал. Коротко, без слов, вскинув кулаки с огнём к низкому металлическому потолку, — так орут болельщики, когда любимая команда забивает на последней, добавленной минуте безнадёжного матча. Я добыл огонь. Я, Дэйв Куинн, неудачник, которого выгнали отовсюду, которого бросила жена, которого уронили с неба не туда, в самую глухую дыру чужого мира, — я добыл огонь. На чужой планете. Из дохлой проводки и соплей инопланетного чудовища. И в этот короткий, ослепительный миг я был, наверное, счастливее, настоящее, полнее счастлив, чем за весь последний десяток лет своей земной, правильной, никчёмной жизни.

Дальше надо было действовать быстро, пока огонёк не сожрал весь мой скудный трут и не погас, оставив меня ни с чем. Я заранее, предусмотрительно приготовил растопку — наломал ещё по дороге сухих нижних папоротниковых стеблей, тех, что уже отмерли и подсохли, и нёс их за пазухой, подсушивая теплом тела, — и теперь скармливал их молодому пламени один за другим, по стебельку, не давая ни захлебнуться, ни погаснуть. Огонь перекинулся на стебли, окреп, захрустел, загудел. Я осторожно, в пригоршне, вынес его из капсулы наружу — упаси боже жечь внутри тесной жестянки, задохнусь дымом или спалю к чертям единственное укрытие, — и выложил там, на пятачке голой земли, который заранее расчистил от прелой

листвы и обложил по кругу принесёнными с ручья камнями, маленький, экономный, аккуратный костерок.

Я сидел перед этим костром на корточках, грел над ним покрасневшие, ободранные ладони, смотрел в пляшущее пламя, и мне было хорошо. Просто хорошо. Впервые за три дня — без оговорок, без страха на дне, просто хорошо. Ничего больше в тот момент не было нужно — только огонь. Огонь, который я сделал сам, из ничего, своими руками.

А потом был лучший ужин в моей жизни.

Я нарезал мясо Мотыля тонкими, в палец, полосками, нанизал их на очищенный от коры заострённый прутик и зажарил над рдеющими углями, поворачивая, как шашлык. Пахло — не передать словами. После двух с лишним дней на сыром меловом картоне запах жарящегося мяса, с дымком, с шипящим соком, сшибал с ног, кружил голову, рот наполнялся слюной до боли, живот подводило и урчал в голос. Я ждал, сколько хватило терпения, — то есть почти не ждал, снял чуть прожаренным, — и вгрызся в первый кусок, обжигаясь, дуя, не чувствуя толком вкуса от жадности, чувствуя только, что это горячее, что это сытное, что это — еда, настоящая, человеческая, тёплая еда.

Мясо оказалось… странным. Сладковатым, плотным, с лёгким привкусом не то грибов, не то речной рыбы, не то ещё чего-то, чему на Земле не было названия. Но мне было совершенно, абсолютно наплевать на гастрономические тонкости. Я сожрал кусок, другой, третий, пятый, и впервые за двое суток почувствовал в желудке не сосущую, ноющую пустоту, а тяжесть. Блаженную, сытую, тёплую тяжесть. И от этой тяжести, от огня, от сытости меня разом разморило, навалилась усталость всех этих дней.

[Невод] Не отравился. Не подавился. Приготовил на огне, который сам же и добыл из моей, можно сказать, бездыханной оболочки.

[Невод] Знаешь, Дэйв… для падали ты справляешься на удивление неплохо. Я повидал много падали. Большинство к третьему дню уже не ужинает.

Он снова назвал меня по имени. Но на этот раз — не одёрнулся, не замолчал испуганно, как давеча у ручья. Просто сказал и сказал, буднично, почти по-свойски, как сосед через забор. Я поднял глаза от костра, от шипящего мяса, будто мог увидеть собеседника. Никого, конечно. Только тёмный, стрекочущий лес вокруг да зеленоватые блики огня, пляшущие на искорёженном боку капсулы.

— А ты, оказывается, умеешь не хамить, — сказал я, жуя. — Иногда. Под настроение.

[Невод] Не обольщайся и не привыкай. Это была производственная необходимость, не более. Мотивированная единица живёт дольше немотивированной — это статистика, факт. А дохлые единицы, Дэйв, портят мне отчётность. Вот и весь мой гуманизм.

Я усмехнулся и не стал спорить. Пусть будет отчётность. Мне, в конце концов, тоже было спокойнее, удобнее думать, что эта штука в голове не добрая — просто расчётливая, прагматичная, себе на уме. С расчётливыми я умел ладить всю жизнь. На складе таких начальников было пруд пруди — которые тебя не любят, но ценят, пока ты полезен. С ними понятно, как себя вести. А доброта — доброта всегда подозрительна, за неё всегда потом выставляют счёт.

Наевшись до отвала, я, однако, не завалился спать, хотя тело просило, ныло, тянуло в сон. Я знал: светлого времени на этой планете мало, оно убывает быстро и равнодушно, а дел ещё много. И я, пересилив сытую дрёму, занялся логовом. Обустройством. Всерьёз.

Сначала — оборона. Я натаскал от ручья и из русла пересохшего ручейка побольше камней — увесистых, с голову, — и завалил ими капсулу снизу, по всему кругу, заткнул щели между землёй и корпусом, чтоб никакая тварь не подрыла, не поддела снизу, не пролезла в прореху. Люк проверил, подёргал скобу запора — держит крепко. Снаружи, шагах в десяти по кругу, в несколько рядов, натыкал в мягкую землю заострённых мультитулом кольев из тех же жёстких, упругих папоротниковых стеблей, наклонив их остриями наружу, навстречу возможному гостю. Не бог весть какая крепость, конечно. Пластуна, может, и не остановит. Но ту

первую, страшную ночь у меня не было даже этого — а значит, уже лучше, уже защищённее. Уже не голый.

Потом — свет. Я вспомнил, как светилась жила в пропитанном пухе, как тускло, ровно мерцала смола в трещинах коры. И собрал в прозрачную, пустую упаковку из-под пайка побольше этой смолы — наскрёб с дерева, из своих же зарубок, набрал полную плошку. В темноте капсулы она давала ровный, слабый, зеленоватый, холодный свет — не ярко, читать не почитаешь, но вполне достаточно, чтоб не тыкаться вслепую, не шарить руками в кромешной тьме. Лампа. Бесплатная, не требующая ни масла, ни фитиля, почти вечная — из той же самой дряни, что днём у ручья чуть не выжгла меня изнутри. Я смотрел на это тусклое, спокойное свечение и думал, качая головой: надо же. Эта жила — и еда (мясо тварей, ею напитанных), и топливо (горит жарко), и свет (вот, светит), и сила (прокачка, будь она неладна). Весь этот мир, похоже, построен вокруг неё, крутится вокруг неё одной. И кто-то, наверняка кто-то поумнее и порасторопнее меня, уже давно это понял и прибрал её к рукам. Но об этом — потом. Потом, когда выживу. Сейчас не до большой политики.

И под самый конец, уже в густеющих сумерках, у рдеющего, почти прогоревшего костра, я сделал себе оружие.

Нож-мультитул был хорош, выручил не раз, но рука у него коротка — чтоб пырнуть Мотыля, подойди вплотную, обнимись с тварью, а к кому покрупнее, вроде того ночного, так уже не сунешься, не выживешь. Нужна была длинная рука. Я взял самый длинный, прямой и прочный папоротниковый стебель, какой нашёл, — почти в мой рост, — зачистил его от листьев и шелухи, высушил над углями, прокалил, чтоб не гнулся, стал жёстким. К толстому концу примотал мультитул с раскрытым лезвием — намертво, в несколько слоёв, полосами фольги и крепкими нитями, выдранными из той же кресельной обивки, обмотал крест-накрест, затянул, проверил на излом, поддёргал. Держит. Получилось копьё. Кривое, неказистое, собранное из мусора, обрезков и, можно сказать, соплей. Но моё. Своё. Я пару раз ткнул им в воздух, в темноту, примерился, прикинул баланс. С таким уже и к Пластуну можно выйти не в обнимку, не катаясь по земле в обнимку со смертью, а на расстоянии, достать первым. Уже совсем другой разговор. Уже не жертва.

И вот тогда, когда я любовался в полумраке своей кривой, уродливой, но собственноручной поделкой, у меня в голове развернулась новая строка. Не подколка на этот раз. Что-то другое, непривычное.

[Невод] Зафиксировано: единица раз за разом берёт хлам, мусор, отбросы — и делает из них то, что её спасает. Огонь. Свет. Стену. Оружие. Снова и снова.

[Невод] Это не случайность и не везение. Это закономерность. Это — ты. Присваиваю навык.

[Невод] Навык: «Из подручного хлама». Уровень 1.

Я уставился на светящуюся в темноте строчку, не веря своим глазам.

— «Из подручного хлама»?! — я даже привстал от возмущения, забыв про усталость. — Серьёзно? Ты это серьёзно? Ты не мог придумать название покрасивее? «Мастеровой» там. «Инженер». «Золотые руки». Я не знаю — хоть что-нибудь солидное!

[Невод] Мог. Названий у меня много, на любой вкус. Но «Из подручного хлама» — точнее. Честнее. Ты не инженер, Дэйв, у тебя нет чертежей и станков. Ты собираешь своё спасение из того, что другие бросают, выкидывают, не замечают. Из отбросов. Как собрал целую жизнь — из разбитой, списанной капсулы.

[Невод] Что он делает, этот навык? То, что ты и сам уже почувствуешь. Твои руки теперь понимают хлам чуть лучше, чем вчера. Поделки держатся крепче. Искра ловится с первого раза. Узел ложится намертво. Мелочь. Но из мелочей, Дэйв, ты весь и состоишь. И из мелочей складывается выживание.

Я хотел было обидеться на название всерьёз, по-настоящему. Оно царапало, оно звучало как насмешка, как клеймо — «из хлама», будто и сам я из хлама. А потом подумал — и перестал. Потому что эта ехидная, язвительная строчка, сама того, наверное, не зная, сказала про меня чистую, голую правду. Всю мою жизнь. Я ведь и был — мужик, который собирает из подручного хлама. Чинил чужое старьё, латал дыры, приспосабливал ненужное, выкручивался из безвыходного тем, что под руку попалось. Меня за это не ценили. Меня за это, в сущности, и бросили — Меган хотела мужа, который делает деньги, а не который чинит соседям стиральные машины за бутылку. Меня за это списали, вычеркнули, отправили в утиль, в один конец. А тут вот — впервые в жизни — за это самое дали силу. Назвали это силой. Навыком. Тем, что спасает.

Может, впервые за сорок лет я оказался ровно там, где моё главное, единственное, всю жизнь осмеянное умение было не жалким. А нужным. Решающим.

— Ладно, — сказал я вслух, устало усмехнувшись, укладываясь спать в капсуле на сооружённую из распоротой обивки подстилку, с копьём под рукой и зеленоватой лампой-жилой в изголовье. — «Из подручного хлама» так «из подручного хлама». Переживу. Не в названии счастье.

Снаружи сгущалась вторая моя ночь на Эпсилоне-6. Где-то далеко, на краю слышимости, снова ухало и перекликалось, жил своей жизнью ночной лес. Но у меня теперь были стена из камней, колья остриём наружу, кривое копьё под боком, сытый, впервые сытый живот и тёплые, рдеющие угли, от которых шло в капсулу ровное тепло. И я, засыпая, вдруг понял, прислушиваясь к себе, что не боюсь её — эту вторую ночь. Не так, как первую. Совсем не так.

А ещё я подумал, уже проваливаясь в тяжёлый, глубокий сон, про ту огромную, безымянную тушу, что нюхала мою капсулу прошлой ночью, дышала за стенкой с присвистом. И про то, что рано или поздно мне не хватит ни стены, ни кольев, ни кривого копья. Что придётся стать сильнее. Намного, намного сильнее. Что это — только начало.

Но это — завтра. А сегодня у меня был огонь.

И на сегодня, на эту вторую ночь, этого было вполне достаточно.

Глава 5. Секач

За следующие три дня я обжился.

Не то чтобы зажил по-царски — какое там. Но у меня появился распорядок. А распорядок, я быстро понял, это и есть та самая невидимая черта, что отделяет человека, который живёт, от зверя, который просто пока не сдох. Утром, едва прибывал зеленоватый свет, — к ручью, за водой, по своим зарубкам, туда и обратно, настороженно. Днём — вылазка: высмотреть на знакомой отмели Мотыля, подкрасться с головой, добыть, разделать, принести домой мясо и жилу. Вечером — огонь, жарёха, починка и доделка снаряжения при ровном зеленоватом свете лампы-жилы, укрепление стены. Ночью — сон вполглаза, чутко, с копьём под боком, за камнями и кольями, прислушиваясь к лесу.

Большой ночной зверь больше не приходил. Пару раз, засыпая, я слышал далёкое, глухое «бум… бум…» где-то на самом краю слышимости — и каждый раз замирал, холодея, переставая дышать, пока оно не удалялось, не растворялось в ночи. Но к моей капсуле, к моему логову, он не возвращался. И я, как водится, убедил себя в удобном: что та первая ночь была просто случайностью, что его тропа идёт стороной, мимо, что мне больше нечего бояться с этой стороны. Как потом выяснилось — убеждать себя в удобном вместо правдивого было у меня, похоже, семейное, наследственное. Меган всегда говорила, что я слышу только то, что хочу слышать.

А ещё за эти три сытых, обжитых дня я осмелел.

И вот это была ошибка. Настоящая, дорогая ошибка.

Понимаете, я ведь добыл за эти дни ещё двух Мотылей — аккуратно, по той же проверенной схеме: высмотрел из-за папоротника, подкрался с суши, против течения, ударил в

слепую тупую морду. Усвоил жилу — теперь уже понемногу, по чуть-чуть, по напёрстку, с передышками, не жадничая, крепко помня тот выжигающий, выворачивающий урок у ручья, когда я чуть не сгорел изнутри. Дошёл до четвёртого уровня. Руки заметно окрепли, налились. Дыхание стало ровнее, глубже. Я перестал задыхаться на подъёме от ручья к логову, перестал уставать от простой работы. Тело слушалось меня лучше, чётче, чем когда-либо на Земле, — я будто помолодел лет на десять, скинул всю офисную, диванную, складскую дряблость. И где-то в глубине головы, под всеми разумными мыслями, завёлся тихий, вкрадчивый, сладкий голосок: ты уже не тот перепуганный бедолага из пробитой капсулы. Ты справляешься. Ты сильнее, чем был вчера, и гораздо сильнее, чем позавчера. Ещё немного такими темпами — и тебе тут вообще никто не будет страшен.

Опасный голосок. Врущий, льстивый, подначивающий. Но до чего же, чёрт возьми, приятно его было слушать после сорока лет, когда внутренний голос твердил ровно обратное — что ты никчёмен, что ты не справишься, что ты неудачник.

На четвёртый день Мотыли на знакомой отмели вдруг кончились. То ли я их всех повыбил за эти дни, то ли они, умные, ушли с опасного места. А мне нужна была добыча — и мясо на прокорм, и жила на прокачку, которая теперь, когда голосок нашёптывал про силу, стала казаться мне делом важным, неотложным. И я сделал то, чего не делал ни разу за три осторожных дня. То, от чего меня, по-хорошему, должно было удержать всё, чему успел научить этот лес.

Я ушёл дальше своих зарубок.

Сказал себе: только гляну, что там, за той каменистой грядой. Одним глазком. Запомню дорогу, не маленький, не первый день тут. У меня теперь четвёртый уровень, копьё в руке, нож на поясе, навык «Из подручного хлама» — что мне сделается? Отобьюсь, если что. Убегу, если совсем припрёт. Я ж теперь ого-го.

Я перевалил через гряду — каменистый горб, поросший тем же светящимся лесом, — и спустился в ложбину по ту сторону. И поначалу обрадовался, даже возликовал: тут было богаче. Заметно богаче. Ручей пошёл пошире и поглубже, деревья стояли потолще, постарше, и жилы в их коре было больше, ярче, она сочилась гуще, тяжелее. Я даже тихо присвистнул про себя, оглядываясь: вот это кладовая, вот это я удачно забрёл. Насобираю жилы — на неделю хватит, на две. Нашёл на мягком, влажном берегу знакомые следы Мотылей — целую тропу, — двинулся по ней, предвкушая лёгкую, богатую добычу, уже прикидывая, как потащу всё это домой. И совсем, ну вот совсем, начисто перестал слушать лес.

А лес к тому времени уже молчал.

Я заметил это слишком, непростительно поздно — когда шагнул на открытую проплешину между деревьями и вдруг, всей кожей, осознал, что вокруг стоит тишина. Та самая. Огромная, вжавшаяся в землю, затаившая дыхание тишина, которую я уже дважды слышал на этой планете и каждый раз запоминал не ушами, а всем нутром, всем телом, до мурашек. Я замер с занесённой для шага ногой, не опуская её. Сердце ухнуло куда-то вниз, в живот, в самые пятки.

И оно вышло на проплешину — с другой стороны, прямо напротив меня.

Если Мотыль был пародией на борова, неуклюжей и жирной, а Пластун — пародией на злую собаку, то это было пародией на всё, чего человек от рождения боится в хищнике, собранной в одном жутком теле. Размером с доброго быка, но не грузное, не тяжёлое — поджарое, стелющееся низко к земле, с длинными, бугрящимися мускулами лапами, созданными для одного — для мгновенного, неотвратимого рывка. Узкая, вытянутая голова сидела на гибкой, змеящейся шее. А вместо морды — костяной, клинообразный нарост, рассечённый надвое, как два сомкнутых лезвия косы, и когда тварь медленно повела головой, я увидел, услышал, как эти костяные «лезвия» ходят, перетирают воздух друг о друга с тихим, сухим, выворачивающим душу костяным шорохом. По загривку, по хребту — высокий гребень, и в нём, под

натянутой кожей, тускло тлела жила. Много жилы. Куда больше, чем в любом Мотыле, чем в десяти Мотылях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.